

Об оседлости и «обоседлении»¹

Рецензия на книгу: Сеницын Ф. Л. Советское государство и кочевники. История, политика, население. 1917–1991. М.: Центрполиграф, 2019. — 318 с. (Новейшие исследования по истории России). ISBN: 978-5-227-08787-4

В. В. Бабашкин

Владимир Валентинович Бабашкин, доктор исторических наук, профессор кафедры политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 119571 Москва, проспект Вернадского, 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru

DOI: 10.22394/2500-1809-2021-6-3-172-179

Мощно звучит в русском языке слово «обоседление», которым автор рецензируемого научного издания Ф. Л. Сеницын постоянно пользуется для адекватного анализа столь сложного исторического материала, как взаимоотношения советской власти со скотоводами, традиционно приверженными кочевому образу жизни. Сразу оговорюсь, что считаю приводимый анализ вполне адекватным и глубоким. И дело не в тех полутора тысячах ссылок на литературные источники и архивные материалы, которыми историк сопровождает практически каждый свой посыл, аргумент или контраргумент, — это для монографии в общем-то обычно. Дело в методологическом, теоретическом подходе к осмыслению событий и процессов, связанных с переходом к оседлости кочевого населения вчерашней Российской империи, чьи проблемы Советскому государству пришлось унаследовать вместе с огромным количеством других назревших и перезревших проблем нашей страны.

По прочтении книги я уже воспринимаю слово «обоседление» как нагруженное какой-то веселой позитивной энергетикой. Ведь какого масштаба стояла задача?! И ведь справились. Ну и что, что кочевников насчитывалось 3 млн человек, или 2% от населения страны? Но, как подчеркивает автор, они «занимали огромные и стратегически значимые территории, что и было главной проблемой для власти. Контроль “оседлого” государства за кочевыми народами вообще затруднителен, а в России после событий Революции и Гражданской войны стал еще менее достижим. Если

1. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

во многих частях страны советская власть была установлена с трудом, то на “кочевых” территориях она не была установлена вообще...» (с. 32). За счет чего же в конечном итоге удалось справиться, если стартовая позиция для государства была настолько невыгодной? Если совсем коротко, идея автора состоит в том, что к 1920-м годам сложился мощный комплекс предпосылок перехода кочевников к оседлости; и Советскому государству, которое, как известно, на протяжении этого же периода всячески упрочивало свои позиции в обществе, удалось грамотно опереться на этот комплекс, использовать эти предпосылки в своих интересах — не без недочетов и перегибов (что неизбежно в таком большом деле), но зато без геноцида (чего не избежали некоторые другие государства в решении аналогичной задачи).

Теперь чуть более подробно. Давая читателю возможность оценить то разнообразие мнений и ту категоричность утверждений, что высказываются в последние десятилетия в специальной литературе, Ф. Л. Сеницын явно не на стороне тех, кто пишет о «настоящей катастрофе», которой обернулась советская политика «обоседления» в 1930-е годы, о «насильственной декультурации», «потере духовных корней». А ведь озвучиваются и такие выводы, что «в советский период казахские скотоводы рассматривались как морские свинки, сырье в погоне за тщетной утопией», или, допустим, что «в три года коллективизации Голощёкин сделал с Казахстаном то же, что Пол Пот с Кампучией» (с. 11, 13). Короче говоря, и в русскоязычном интеллектуальном пространстве, и за рубежом хватает аналитиков, готовых произнести слова «геноцид» и «этноцид» применительно к советской политике перевода кочевников на оседлость в годы коллективизации. Это очень созвучно тому, что в свое время писалось о годе 1933 года как о «сталинском геноциде против собственного крестьянского народа».

Хотелось бы подобную политическую риторику считать вчерашним днем нашей аграрной историографии, о котором неловко и вспоминать. Куда ближе теоретическим воззрениям автора умозаключения С. Ш. Казиева, к чьей докторской диссертации он неоднократно обращается на страницах книги для подтверждения собственных взглядов и позиций. Например, как мне представляется, вполне соответствует материалу рецензируемой монографии вывод Казиева о том, что «массовая гибель людей и откочевки сотен тысяч скотоводов за пределы страны в Центральной Азии были результатом ошибок и “перегибов” строителей нового общества, а не преднамеренным этноцидом “отсталых” народов. Советское государство никогда не планировало физического уничтожения этнических общностей» (с. 13). В той же мере соответствует, что называется, «духу и букве» книги Сеницына вывод казахского исследователя о том, что, «несмотря на чрезмерную “цену” модернизации, коллективизация и оседание казахского аула создали возможности

для интеграции народов республики, действительного выравнивания культурного и социального уровней развития», предоставили «беспрецедентно широкие возможности для развития образования, культуры, здравоохранения». Именно поэтому «казахи были одним из наиболее лояльных к Советскому государству этносов» (с. 11).

И тут я лично никак не могу отделаться от ощущения, что такой взгляд на эти вещи куда более соответствует работам советских историков 1970-х годов, нежели отождествление казахов с морскими свинками. За подтверждением обратимся к тому, что в рамках этого же историографического обзора приводит Сеницын. «Советские ученые, — пишет он, — подчеркивали кардинальные преимущества политики СССР в сравнении с зарубежной. По мнению И. Я. Златкина, в мире практиковалось два варианта перевода кочевников на оседлость: “западный” — “насильственное вытеснение номадов, для которых “нет места” в мире, возглавляемом западной цивилизацией”, и “марксистско-ленинский” — “революционная ломка архаических форм хозяйства, социального строя и домашнего быта, совершаемая самими массами трудящихся под руководством” коммунистической партии. В. В. Грайворонский отмечал, что в капстранах “в первую очередь вынужденно переходит к оседлости беднота, разорившиеся скотоводы-кочевники”, тогда как в условиях социализма оседание выступает как “результат целенаправленной и планомерной политики, ...направленной на всемерное улучшение... положения населения”. И. С. Гарусов считал, что “оседание и концентрация малых народов советского Севера в корне отличны от такого же процесса на зарубежном Севере, где он проходил за счет хищнического разрушения традиционных отраслей хозяйства и привел к трагедии коренного населения”» (с. 10).

Разумеется, в этих работах не ставился и не мог ставиться вопрос о той «чрезмерной “цене” модернизации», несмотря на нее, но благодаря коллективизации и оседанию казахского аула, этнические казахи в огромном большинстве своем были вполне лояльны по отношению к советской власти, равно как и кыргызы и представители других этносов, часть которых в 1930-е годы традиционно вела кочевой и полукочевой образ жизни. Не ставился он по той же причине, по которой этот вопрос гипертрофировался в западной советологии и по которой эта гипертрофия в постсоветские годы стала переключиваться в русскоязычную литературу. Об этой причине хорошо сказал еще в 1997 году японский эксперт по экономической проблематике советской аграрной истории той поры Ю. Таниучи: «Надо признать, что история коллективизации всегда принадлежала не столько исторической науке, сколько политике. Так было во времена СССР, такое положение остается и после его распада и в России, и на Западе. Добываемые историками архивные материалы часто оказываются на обслуживании политических нужд. Основной критерий политизированной истории — “превозносим или клеймим”. Представление о многопричинности собы-

тий и установление иерархии причин несовместимо с такой историей...». Берусь утверждать, что автор рецензируемой монографии сознательно и вполне квалифицированно уходит от превозношения или клеймения, стремясь рассмотреть максимально возможное количество причин и факторов перехода к оседлости части населения Советского Союза и тем самым максимально деидеологизируя проблему.

Очень сильная попытка проделать такого рода методологическую работу относится к 1966 году, когда М. Левин опубликовал на французском языке свою книгу о комплексе предпосылок коллективизации «*La Paysannerie et le Pouvoir Soviétique*» («Крестьянство и советская власть»), два года спустя вышедшую в переводе на английский и неоднократно затем переизданную. Риску утверждать, что задачу деидеологизации вопроса о взаимоотношениях органов Советского государства с оседлыми крестьянами, т.е. с огромным большинством населения страны, было решить существенно сложнее, нежели сделать то же по советской политике в отношении кочевников, однако Левин справился с ней блестяще. В случае с советскими кочевниками эта задача упрощается благодаря тому обстоятельству, что вопрос о собственности на землю в теории не стоял, а на практике решался довольно просто и прямолинейно. Как пишет Сеницын, «когда кочевники уже были подчинены “оседлым” государствам, они, во-первых, часто не смогли отстаивать право собственности на свои территории (из-за фактического отсутствия института собственности на землю) и, во-вторых, были вынуждены встраиваться в политическую и экономическую структуру “оседлых” государств, что неизбежно вело к распылению кочевой цивилизации» (с. 265). В случае с СССР этот процесс встраивания хронологически совпадает с коллективизацией крестьянских хозяйств и проходит те же стадии, что и коллективизация: умеренные темпы нэповской поры, когда параллельно с сельхозартелями существуют разного рода крестьянские кооперативы, равно как и кулак-частник; резкое форсирование начала 1930-х годов; заметное снижение государственного напора после «Головокружения от успехов».

Иными словами, советские кочевники-скотоводы в ходе модернизации и коренного переустройства своего уклада жизни, или «обоседления», должны были встраиваться в такую социально-экономическую структуру реально существовавшего тогда аграрного производства, по отношению к которой Советское государство также проводило энергичную и, по сути, революционную политику. Идеино-политическая борьба, связанная с историческими оценками событий коллективизации, всегда отличалась особой остротой. Напомню, что официальная версия советской историографии исходила из того, что переход к ведению земледелия на больших колхозных полях, облегчающий механизированную обработку почвы и севообороты, фактически был переходом к новому способу произ-

водства в крестьянском сельском хозяйстве — более прогрессивному в сравнении с квазикапитализмом многих бывших помещичьих производств и крепких кулацких хозяйств (не говоря уже о «пережитках» общинного земледелия). В постсоветской специальной литературе и особенно публицистике стремительно набирали силу мотивы неэффективности советских колхозов в сравнении с потенциальной эффективностью тех, кто попал под нож раскулачивания. При этом весьма решительно критиковалась та постановка вопроса, что сильные общинные традиции, сохранявшиеся в крестьянском хозяйстве нэповской поры, лишь облегчили переход основной массы деревенского населения к колхозно-совхозному строю.

Похоже, что рассмотрение сюжетов, связанных с переходом к оседлости советских кочевников, говорит скорее в пользу такого облегчения, нежели решительной критики подобного взгляда на вещи. Это опять к вопросу о деидеологизации исторической проблематики путей и судеб модернизации отечественной аграрной экономики. Дело в том, что в рамках идеологии советского прогрессизма, существовавшего в СССР под именем марксизма-ленинизма (научного коммунизма) и едва ли не до самого 1991 года считавшегося подлинно научной основой исторического анализа, община отождествлялась с архаикой, и попытки угледеть ее «родимые пятна» в советском колхозе не приветствовались. Альтернативная же идеология (назовем ее здесь для ясности «научным антикоммунизмом») отвергала такие взгляды на том простом основании, что колхозно-совхозная политика Советского государства трактовалась как сугубо антинародная, противоречившая самой логике разумного социально-экономического развития страны. О какой, мол, исторической преемственности речь, если под раскулачивание попадали наиболее рациональные и экономически эффективные сельские труженики?

Взгляд на проблему оседания кочевников в СССР как историческую неизбежность и, следовательно, на государственную политику «обоседления» как абсолютную необходимость позволяет удачно обойти обе эти идеологические крайности. Ведь подобие кочевого рода и крестьянской сельской общины в плане приверженности нормам обычного права и традиционного жизненного уклада особых сомнений не вызывает. В этой связи любопытным представляется вывод Синицына о том, что «процесс коллективизации в “кочевых” регионах можно было реализовать проще, чем в “оседлых”, так как родовые аулы или артели (на Севере) фактически уже являлись своеобразными “колхозами”. Однако власти основной части “кочевых” регионов в период форсирования не стали применять такой подход (хотя позже в ряде регионов к нему и пришли)» (с. 260). Иными словами, оседавшие родовые общины кочевников практически превращались в те же колхозы; и политика советской власти по отношению к «оседлым» сельским общинам нэповской поры (т.е. к крестьянам всех других регионов) была направлена приближи-

тельно на это же. Примечательно и то, в чем состояло одно из основных средств, использовавшихся властями в целях «обоседления». «Здесь также были связаны политический и экономический аспекты, — пишет об этом автор, — ликвидация власти и конфискация имущества “родовых авторитетов”, которые одновременно являлись наиболее зажиточным слоем кочевников, фактически провоцировали прекращение кочевания всего рода» (с. 260).

Не прочитывается ли здесь какая-то параллель с раскулачиванием части «оседлых» тружеников сельского хозяйства, т.е. крестьян-общинников, как одним из условий перехода от нэповской политики к форсированной коллективизации, одним из необходимых способов перехода основной массы деревенского населения к колхозному способу производства? Не могу отделаться от мысли, что в известной мере такая параллель допустима. Возможно ли раскулачить «родового авторитета» (если это действительно — авторитет), без риска взрыва отчаянного возмущения со стороны его одноплеменников? Однако, как выясняется, в спокойные 1920-е годы процесс разложения и перерождения традиционных институтов кочевого общества шел своим чередом: «Так, в Казахстане многие аткаминеры погрязли в коррупции, стяжательстве, превратились в посредников при даче взяток властям, львиную долю которых часто забирали себе» (с. 31). Какой уж тут авторитет? Вспоминается широкая дискуссия середины 1920-х годов, освещавшаяся на страницах газет «Беднота» и «Крестьянская газета»: «Кого считать кулаком, кого — тружеником? Что говорят об этом крестьяне?» Эта дискуссия, в которой селькоры приняли активнейшее участие, выяснила тогда интересное обстоятельство: главный критерий, который используют в решении для себя этого принципиального вопроса сами крестьяне — не уровень материального достатка того или другого из односельчан, а способ получения этого достатка. При этом крестьяне руководствуются представлениями о добре и зле, что основаны на обычном праве и на том, что в крестьяноведении принято называть «моральной экономикой». Похоже, что представители кочевой цивилизации были склонны поступать так же.

В рецензируемом научном издании содержится еще много интересной исторической информации, любопытных суждений и выводов. К примеру, впечатление, которое произвело на кочевых обитателей казахских степей строительство Туркестано-Сибирской железной дороги в 1927–1930 годы, и те возможности, которые это предоставляло для перехода от кочевания к какому-то новому образу жизни. Другой пример: сокращение в 1927 году в Туркмении сельхозналога на две трети по сравнению с предыдущим годом и упорядочение прогрессивного порядка обложения этим налогом, что повлекло изменение отношения кочевников к политике Советского государства в лучшую сторону (с. 67). Как известно, подобная налоговая политика советской власти по отношению к сельским жителям других регионов страны вызывала у крестьян полное

одобрение и такое ощущение, что государственная власть действует сообразно традиционному сельскому сходу, поддавливая налогом тех, что побогаче, а кому положено, давая послабление.

Активные и вполне эффективные действия предпринимались государством в борьбе против басмачества. Создавались добровольные отряды милиции для защиты кочевников от басмачей, власти стремились опереться в этом деле на поддержку оседлых соплеменников мирных кочевников. Даже на уровне словоупотребления законопослушные, склонные к оседанию кочевники прямо или косвенно побуждались действовать в русле политики властей, поскольку само слово «басмачи» оседлые жители Средней Азии традиционно использовали для определения кочевников, со стороны которых время от времени терпели набеги. Советская же власть в системе пропаганды «басмачами» обозначала своих врагов, что склоняло к определенным размышлениям людей, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни (с. 28-29).

Заключительная глава монографии называется ««Оседлое» государство и кочевники: зарубежный опыт» (с. 210-251). И в ней по необходимости кратко, но вполне вразумительно показаны исторические особенности осуществления этой политики в таких странах и регионах мира, как Китай, Монголия, Афганистан, Иран, Ближний Восток и Магриб, Африка южнее Сахары, зарубежная Европа, Австралия. Помимо особенностей, разумеется, проступают и общие черты данного политического курса разных государств, которые, как отмечалось выше, можно кратко определить как необходимость для кочевников встраиваться в основные социально-экономические и политические параметры того или иного государства. И особенности как раз определяются довольно существенным разнообразием этих параметров. Отдельный параграф этой главы под названием «Пыльные котлы» (с. 249-251) повествует об одной из самых кошмарных экологических катастроф, которая, как правило, сопровождается резкий переход от кочевого скотоводства к оседлому животноводству, а также о том, сколь мало склонны политики учиться чему-то в этом плане на чужом опыте. Это не в последнюю очередь относится к советской целинной эпопее хрущёвской поры (с. 254-255).

«Политика многих «оседлых» государств — Китая, Ирана, Монголии, Афганистана, стран Ближнего Востока, Магриба и др. — в отношении кочевников имела определенное сходство с политикой Российской империи и СССР, — формулирует один из своих выводов Ф. Л. Синицын. — В то же время, в отличие от Австралии и ряда стран Европы, в России и СССР никогда не осуществлялся геноцид или преследование кочевого населения. Результаты действий властей ряда стран Африки по отношению к кочевникам, приведшие к ухудшению здоровья последних, отличаются от ситуации в СССР, где перевод кочевников на оседлость имел существенные положительные последствия в сфере здравоохранения, образования и социального обеспечения» (с. 264).

В заключении автор также высказывает мысль, что если определенный взаимовыгодный симбиоз между «оседлым» государством и кочевниками был возможен в том мире, где государственные границы определялись не только географическими, но и экономическими параметрами, то в современную эпоху глобализации мир «сузился», и места для кочевников в их исторических ареалах обитания почти не остается. Одной из важнейших предпосылок и факторов «обоседления» кочевников в прежнем мире — мире национальных границ — было как раз стремление государства прекратить трансграничные миграции, сделать более четкими те самые границы, внутри которых обеспечивались бы политический и фискальный контроль над населением своей страны, своей политической (пусть даже и полиэтнической) нации. Сегодня многое в этом плане выглядит существенно иначе, и трансграничные миграции, хоть и приобрели совсем иной характер в сравнении с кочевым скотоводством, стали делом вполне обычным.

On sedentariness and 'settling'²

Review of the book: Sinitsyn F. L. The Soviet State and Nomads. History, Policy, Population. 1917–1991. Moscow: Tsentrpoligraph, 2019, 318 p.

Vladimir V. Babashkin, Professor Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. 115571 Moscow, prosp. Vernadskogo, 82. E-mail: vbabashkin@ranepa.ru

2. The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research program.